Первой почуяла неладное Катерина Глебовская. Она пила чай вприхлебку из блюдечка и заметила из кухни, как ее же загородой, которую она с утра окашивала, пробрался какой-то недеревенский толстый мужик и пропал с глаз долой. Катерина с оханьем поднялась, чтобы из передней поглядеть: куда это молодец посвистал, а он уж тут как тут — в дверь, не торкнувшись, вошел. Стоит, только что притолоку головой не подпирает: набычился, борода лопатой, у самого носа два круглых бойких глаза, в майке и трусах до колен цветных, ноги будто тумбы, все волосатые, и вдобавок в тапочках кожаных, без носков.

— Чего тебе, милок? — немного оробев, спросила Катерина. Согнутая, в линялом ситцевом платье, она была этому гостю еле не по пояс. — Воды надо или избой обознался?

— Да мы, бабка, реставраторы, — неожиданно тонким голосом ответил парень, а сам по стенкам нет-нет и зыркнет, даже в большую комнату хотел без спроса двинуться, но на дороге была Катерина и не думала отступать.

— Реставраторы мы, — снова повторил он. — Иконы ходим реставрируем, лучше делаем, — выпевал гость. — А то и купить можем. Денег-то надо, бабушка?

— А кому они не нужны, — смиренно ответила Катерина. — Да только продавать-то у нас нечего. А если воды не надо, так иди, батюшко, куда шел: мне сено грести пора. Иди с Богом.

— Ну, смотри. — Парень шумно вздохнул и отправился восвояси: в коридоре, слышно было, приложился головой о дверной вершник и крепко выругался, после скоренько слетел вниз.

А Катерина не на шутку встревожилась. В прошлом году, зимой, тоже шастали в этих краях какие-то гости. Пошныряли они по деревне, а потом в избе у Миши Демушки пропали иконы, а еще не стало медного самовара вместе с домотканными половиками. Самих-то хозяев давно уже не было на белом свете, только летом из города детки сюда наезжали.

А теперь, куда с добром, с утра пораньше ходят — говорят, сделают так, что иконы станут лучше, чем были. Катерина, ойкая, не пошла огребать сено, как задумала, а прямиком, на всякий случай затворив дверь палкой, наладилась к Анюте Мишкиной.

Солнышко жарило во всю ивановскую, в воздухе гудело зноем, а толстая бархатная пыль желтым покрывалом лежала на земле, и даже у куриц не хватало сил в нее зарыться и отдохнуть. Катерина, проворно надвинув на глаза платок, выбежала из своего заулка, вгустую затянутого иван-чаем, и по дороге увидела товарку, которая с коромыслом и ведрами направлялась к колодцу. Она пересказала Анюте Мишкиной все, что знала, а в горячке даже и от себя лично кое-что добавила. Анюта, еще бедовая, крепкая и сухожильная, но робкая отроду, захваталась за голову уже на середке рассказа и надумала идти обратно, но скоро вернулась. Тем временем из-за дома, где этим летом жил Витька-офицер, показалась еще одна деревенская старуха, Лидия Аропланиха, ходкая, скорая на ногу. Следом катил велосипед десятилетний, в конопушках, внучонок Сашка, гостивший у бабки все каникулы.

Оказалось, что и у Лидии Аропланихи были незваные гости, также уговаривали показать иконы. С толстым круглоглазым парнем был, тоже в трусах и майке, еще один здоровый мужик.

— А я ихнюю машину видел, — вдруг выпалил десятилетний Сашка. — Она у скотного двора стояла.

Старухи вперегонки кинулись к парню за разъяснениями. Но толку особого не добились: тот лишь добавил, что видел собственными глазами, как эта «десятка» уехала обратно.

— Вот что, бабы, — решила тогда Лидия Аропланиха, — как ведь дьяволы уехали, так и вернутся. Это они узнавали все. Про нас-то. Есть ли что в домах. Да кто живет. Мало им, бесам, зимусь все у людей повытаскивали, теперь и при ясном дне уже папоротки распускают. Не к добру это, ой, не к добру. Вот что, Сашка, — она дернула внука за ухо. — Садись-ко на лисапед свой да едь до центральной-то усадьбы, и милиционерам позвони. Все обскажи. Гляди, не забудь у меня чего.

— Ладно, — буркнул внук и, забравшись на велосипед, понесся с горушки на большую дорогу. Задание ему понравилось, и он даже ненароком едва не задел валявшийся еще с незапамятных времен возле обочины указатель с названием деревни. Выворачивая на дорогу, Сашка несколько раз вильнул рулем, затем с новыми силами, отдуваясь и переваливаясь на раме, закрутил педалями в сторону центральной усадьбы.

А старухи всем скопом направились в избу к Катерине Глебовской. Лидия Аропланиха по дороге заскочила к единственному деревенскому мужику Ване Лейте, прозванному так еще молодым парнем: до того, было,

допьется — шевелиться уж нет сил, а все равно еще охота, вот и кричит: «Лейте, лейте». Прозвище так и осталось, хотя Ваня давно уже был Иваном Ивановичем, и теперь, не обращая особого внимания на собственный возраст, каждый сезон поддежуривал на ферме, а в остальное время помогал своим старухам по хозяйству. Вскоре все сидели у Катерины на кухне, чаевничали. Ваня, высокий синеглазый старик с лысой головой, выглядел недовольным, привыкнув в жару часик-другой вздремнуть, но он же и подсказал, как надо делать дело.

— Оне, верно, опять придут. Не сегодня, дак завтра. Не сойти с этого места. Милиция милицией, а надо, бабы, всем вместе держаться, кучей. Пять домов в деревне, а раз в месяц друг с дружкой поздоровкаемся. А на милицию жданки малы. Да вон бы еще Витьку-офицера на подмогу-то кликнуть. Он парень провористый.

Все стали вспоминать про Витьку-офицера. Впервые тот появился в деревне с год назад, но до сих пор о нем ничего не знали. Из дома почти не выходил. Поговаривали: пил много, вот и на улицу не показывался. Правда, раз кто-то видел его на огороде, беловолосого, худого, без майки, и испугался: у Витьки все тело, вся животина была как будто проехана бороной. Тогда и решили, что вернулся парень с недавней войны. Тем более что ходил Витька-офицер в военных штанах и высоких зашнурованных ботинках, даже в жару. С деревенскими всегда поздоровается, но к разговорам не приставал. Поэтому его немного и опасались. Но сейчас дело такое, что без него, может, и не обойтись. Сход направил к Витьке-офицеру самого Ваню: как-никак тоже мужик, поладят.

Оставшись в одиночестве, старухи опять поставили самовар. На кухне было тихо и прохладно, в самой избе свободно гудели вечерние мухи, по-хозяйски летая из комнаты в комнату, а в переднем углу бормотало радио.

Все к этому времени успели прийти в себя. Во-первых, прибывший внук Лидии Аропланихи Сашка доложил, что в милицию он позвонил, и там, как поосвободятся, обещали выслать наряд для проверки. Порадовал и Ваня: Витька-офицер согласился заглянуть на огонек.

Потихоньку все кругом успокаивалось, в воздухе заметно посвежело и запахло вечерней росой, в деревенском озерке то и дело слышались заманчивые всплески играющей рыбы, а сразу за домами, возле близкого леска, розовело и меркло небо, медленно угасая; откуда-то со стороны центральной усадьбы изредка доносились, как будто били по наковальне, ржавые монотонные звуки.

Деревенские уже справились с задуманным как следует. Сначала долго спорили, где положить вилы, тяпки и грабли, чтобы в нужное время все оказалось под рукой, а Ваня, выворотив из огорода, притащил большой осиновый кол. Решили, что в избе весь инвентарь оставлять нельзя, ежели дойдет до дела, поэтому склали прямо возле крыльца Катерининого дома. Ждать незваных гостей и можно было именно с этой стороны: видно, как на ладошке. И мимо уж не проскочат, если на самом деле кому-то взбредет в голову ехать сюда.

Старухи дули уже не первый самовар, а у крыльца на низкой лавке, заросшей пыльным подорожником, сидели и курили Витька-офицер с дедком Ваней. Витька сначала зашел в избу и, как деревенский, запросто поздоровался со всеми, а потом мужики ушли смолить. Со старухами остался лишь внук Лидии Сашка и от безделья играл с кошкой: дразнил ее, поддергивая веревочку с привязанным на конце цветным фантиком, но кош-

ка не поддавалась на обман, а только лениво жмурилась, хитро поглядывая на горожанина.

Сашке надоело баловаться в избе, и он выбежал на волю, но скоро заскочил обратно, крикнув, что в деревню едет машина.

Старухи обмерли. Смирная Анюта Мишкина, как от тычка, даже с хлюпаньем еле не ткнулась в блюдечко с горячим чаем, захваталась за клеенку на столешнице.

— Едут, едут, — неизвестно чему ликуя, подпрыгивал Сашка. — Машина, что и утром была. Вон она, вон она!

У Лидии Аропланихи хватило еще соображения глянуть из окна — не ушли ли куда мужики по надобности? Но Витька-офицер уже встал и неторопливо, будто спросонья, потягивался, а Ваня, приставив ладошку к глазам, вглядывался на приближающуюся в легкой вечерней пыли машину.

— Господи, благослови! — Торопливо перекрестившись на золотящуюся в кухонном углу темную икону, Катерина оглянулась на товарок, и старухи, одна за другой, тихонько пошли на выход.

Они осторожно спустились с высокого крылечка и сели на лавку у дома: чему не хотелось верить — случилось и происходило ровно в забытьи или тяжелом сне. Бабы смирно сидели, сложив на передниках раздавленные работой руки и глядя перед собой.

Машина, темно-синяя, сверкающая, плавно покачиваясь, точно лодка на волнах, остановилась как раз напротив Катерининого дома, бесшумно распахнулась дверца с темным стеклом, а из нее на землю крепко ступила толстая нога в тапке. Вышел и сам парень, утрешний, с узко поставленными бойкими глазами, борода лопатой.

— Еще раз, — весело крикнул бородатый, — всем привет!

— Доброго здоровьица, — по-хорошему откликнулся дедко Иван.

Следом за первой дверцей пооткрывались и остальные. На улице оказались четыре человека, все молодые мужики, одетые под стать бородатому. И тут из кабины неожиданно появился еще один человек, не таковский, как остальные гости: он был в белоснежном дорогом костюме, рубашке с цветным галстуком и в узеньких очках, за которыми не видно глаз, а широкие скулы, недобро выделяясь, охватывала злая, в завитушках, щетина недельной непробритости.

— Что, бабы, — по-прежнему весело прокричал бородатый, — как с иконами-то? Мы ведь помочь хочем. — На деревенских мужиков он смотрел как на пустое место. — Зря отказываетесь. У вас икон много, солить их, что ли? А мы денег дадим еще больше. Хоть завались!

Старухи переглянулись меж собой. Но тут Лидиин Сашка подбежал было к машине, и Аропланиха, заводив своим длинным белым носом, зашипела и погрозила парню кривым согнутым пальцем.

Бородач, восприняв эти действия как угрозу, заметно не похорошел:

— Бабки, — посжимал он литым кулаком. — Реставратор шутить не любит!

И глазами на этого в очках опасливо показал, а после запустил свою лапу в бороду: мошкара, вися столбом, липла и не давала покоя. И поскреб всего ничего под волосатым горлом, а борода возьми да и отпади — липовая оказалась!

— Господи! — едва не в голос всполошились старухи.

— А ведь нарушат нас, — поднимаясь, вдруг заголосила обо всем догадавшаяся Лидия Аропланиха. — В нашей-то деревне. За тем и приехали!

Но раньше всех лишь двое знали — только два человека по-настоящему понимали, чем может все закончиться, если один другого не опередит: Витька-офицер и черный молчун в очках, на которого показывал бывший бородач.

Молчаливый уже сунул руку во внутренний карман пиджака, но Витька, опередив, ткнул пальцем куда-то за его плечо и крикнул:

— Этот с тобой?

Молчаливый маленько повел головой, но Витьке-офицеру хватило и этого: вдруг выбросив перед собой руки и подтянув ногу, он в то же мгновение неуловимо ее выпрямил, — неведомая сила хряснула молчаливого о машину, даже очки слетели.

Старухи на лавке голосили, как будто на них клином сошелся свет, а Ваня Лейте, сграбастав кол и размахнувшись им, молчком пошел на стоящих у машины.

То, что начинало происходить, видно, никак пока не укладывалось в буйные головушки приезжих, многое уже, наверное, повидавших в свои еще молодые годы. Они еле-еле успели поставить своего молчуна на ноги, а уж с лавки, поднявшись в полный рост, надвигались на них, вооруженные граблями, тяпками и вилами простоволосые деревенские старухи — уже очнувшиеся, без слов и спокойно, решительно готовые, если не дай Бог доведется, стоять и насмерть, до конца.

Приезжие, неуверенно подхохатывая, запереглядывались, растерялись. Они и правда не знали, что сейчас делать. Липовый бородач первый, кашлянув, отодвинулся. За это время никто не сказал ни слова — ни с той, ни с другой стороны.

— А-а-а, — внезапно завопила Катерина Глебовская и бросилась с вилами наперевес прямо в медленно отходящую кучу чужих гостей. И тыкала вилами-то, и тыкала, глядя широко открытыми, ничего не выражающими глазами, — и все кричала, как будто уже предсмертно, как это делают лишь женщины в нестерпимую, жуткую минуту.

Тут уж приезжим на самом деле стало нехорошо. А Ваня Лейте, размахнувшись колом как его душеньке угодно, наконец-то изловчился приложиться со всего размаха, но промахнулся: кол плашмя попал в землю, а сам Ваня, не удержавшись, сунулся следом. Но сразу оказался на ногах и, согнувшись, бросился вперед.

Кажется, ничего уже не понимающие парни, развернувшись, боком, медленно потянулись к леску; сначала как бы играючи, нехотя, но страх, бодро настраивая на здравые размышления, ускорял их бег, направляя к близкому спасительному леску. Молчаливый реставратор, на ходу, опять попытался что-то выдернуть из внутреннего кармана, но Витька-офицер, бежавший легко и пружинисто, не подкачал и здесь: подпрыгнув, он достал ногой хребтину «реставратора», и тот, кувыркнувшись, вновь оказался на своих двоих и припустил так, что обогнал подчиненных.

— А-а-а! — неотступно выла Катерина Глебовская, стремящаяся вперед с вилами наизготовку.

Не отставали от нее и Лидия с Анютой. Рядом, припадая на ногу, верным оруженосцем продвигался дедко Ваня, а кол он теперь держал, как винтовку, наперевес.

«Реставраторы», толпой, как бы в шутку добежали до опушки леса, а дальше, негромко матерясь, ринулись от греха подальше в самую чащобу, попав в непроходимый бурелом, над которым грозной тучей вяло колыхались полчища гнуса, в мгновение ока поглотившие беглецов.

Догоняющие остановились. Оказалось, что кроме Витьки-офицера, все подчистую выбились из сил. Анюта Мишкина, которой вовсе было невпродых, только махала рукой, выговаривая: «Ой, Господи-батюшко, ой, спаси-сохрани». Дед Иван, опершись на свой кол, безразлично, полураскрытыми глазами поглядывал в сторону леска, а Лидия Аропланиха отваживалась с Катериной Глебовской: что-то ей шептала, заодно потихоньку вытаскивая вилы, которые подружка продолжала держать намертво. Только Витька-офицер, сплюнув под ноги, растер это место крепким военным ботинком, а после деловито отошел туда, где подшиб главаря, как раз возле пруда, вгладкую покрытого пленчатой зеленой тиной. Попинывая кочки, он внимательно исследовал место вокруг сражения. Затем, наклонившись, поднял что-то сталисто блеснувшее и, с легким прищуром повертев в руках, бросил находку в пруд, лишь сбулькало.

Охая и причитая, ополченцы, сопровождаемые Ваней, возвращались в деревню.

— Пойдем, Витя-батюшко, хоть чаю поставим, — слабым голосом позвала по дороге Катерина Глебовская, и все повеселели: слава Богу, наконец-то заговорила баба, как все добрые люди. Возле машины приезжих столбиком стоял конопатый Лидиин Сашка и, отворив рот, изумленно смотрел на деревенских. Казалось, он на время лишился дара речи при виде того, что произошло на его глазах.

И Витька-офицер необидно и легонько возьми да подщелкни Сашке под подбородком — как это у него ладно вышло?

Дедко Ваня снова сложил весь сельхозинвентарь возле крыльца, и все поднялись в избу. Решено было ночью на всякий случай не спать — дежурить, сюда в любое время могли вернуться из леса любители старины...

Ночь, белея ромашками, стояла тихая и теплая, сизый туманный свет бережно окутывал деревню, и она точно парила, недосягаемая, в воздухе, а тишина была такая, что слышалось, как плескалась вода в самой низине деревни в маленьком, блюдечком, озерке, которое можно за несколько минут свободно переплыть туда и обратно.

Катерина Глебовская включила свет и достала из кухонного, засиженного мухами шкапа зеленую бутылку и молодцевато, экое диво, со стуком водворила посреди стола:

— Ну-ко, Ваня, распечатывай давай: за тобой в этом деле ровни не водилось!

Но тот взял и всех удивил: от дармовой водки заотказывался: «Не, бабы, седни не в то горло полезет». Да и верно не стал прикладываться.

А Витька-офицер даже чаю не захотел: чтобы за дорогой пригляд был, к окошку в переднюю комнату собрался. Лидия-то Аропланиха, до чего у бабы язык долгий, возьми тут и скажи Катерине:

— Откуда у тебя и взялось, девка: гли-ко, чуть ведь городских гуляк совсем не нарушила. Мы и то перепугались.

Катерина Глебовская помолчала, а потом и говорит тихонько:

— А я ведь, бабы, взаправду думала, что Якова-то своего спасу, успею.

— Ково? — прихлопнула себе ладошкой лицо Анюта Мишкина. — Господь с тобой, матушка, ведь твой-то хозяин еще в курском огне сгорел, что ты!

— А вот, верьте-нет, бабы, — Катерина, низко повязав, поправила ситцевый, в красную горошину платок, потом виновато улыбнулась всем своим маленьким коричневым личиком. — Будто сама война и приблазнила вьяви, и мой Яков, покойная головушка, там один-одиношенек, а

его какие-то незнакомые, все страшные такие, окружают да окружают. Ведь из памяти меня вышибло, в глазах отемнело, уж не держите обиды-то, сама не рада...

У подружек и отлегло на душе. Лишь Лидия Аропланиха не удержалась, подтвердила со вздохом:

— А война, что как не война идет: горит все кругом синим огошком, это Господь за грехи наши горемычные наказывает.

Витька-офицер, опустив голову, скоро вышел в переднюю комнату и сел к окну. Никому неведомо, какие он думы думал этой бессонной летней ночью под заоконный стрекот кузнечиков и тихий шепот зеленой травы. Только под его острым кадыком порой сухо щелкало, да какая-то нетерпимая, идущая изнутри немочь сводила иногда шею, и она мелко, напряженно и долго тряслась, туманя глаза и уводя от слуха затихающие разговоры стариков, дружно укладывающихся на ночевку прямо на большой Катерининой кухне. Еще его выводила из себя капающая из самоварного крана вода, вбивая в голову раскаленный невидимый гвоздь...

Наверное, и домучили Витьку-офицера эти каленые боли — подзабылся он то ли долгим, то ли коротким сном, но очнулся вдруг: где-то за околицей буркнула машина. Витька лихорадочно потряс головой и, морщась, глянул на свои наручные со светящимся циферблатом: Бог мой, утро! А за окошко-то, наклонившись, сунулся: нет машины городской, как приснилась. Он мгновенно, по-кошачьи вспрыгнул на ноги, на цыпочках вынесся из избы, мельком глянув на кухню: там вповалку приткнулись на широких лавках те, кто еще накануне едва не лишился последних годков жизни, и спавшие теперь без задних ног, а десятилетний Сашка посвистывал носом на русской печке, подложив под голову кулачок.

Витька-офицер, пригнувшись, неслышно обежал вокруг избы и, выскочив на середину улицы, с ходу все понял: безрадостные ценители древности, верно, дождавшись, когда в деревне уж точно поснут, и явно покусанные до необходимых вздутостей полчищами гнуса, и не мечтали о какой-то мести, а просто спасались — катом спровадили свою машину с горушки, а дальше, до дороги, видать, из благоразумных соображений, дотолкали руками, — и только их видели. А что это тогда уркнуло — может, все-таки вернуться решили? У этих отморозков ума хватит. И Витька, энергично растирая ладошку о ладошку, стал торопливо разогревать руки: он решил встретить это уркающее подальше от деревни, по дороге к центральной усадьбе, и все будет как надо. Но не добежал он каких-то двух метров до брошенного указателя с названием деревни, как опять уркнуло, уже явственно. Может, гром? А что: дышать уж нечем, столько времени палит напропалую. Но нет, со стороны центральной усадьбы, коробчато подпрыгивая, бойко бежала милицейская машина.

Витька-офицер медленно поднял руку. Он стоял посреди дороги, широко расставив ноги в высоких шнурованных ботинках — спокойный, уверенный, надежный.

— Э, мужик! — высунулась из окна тормознувшей машины рыжеволосая голова водителя. — Дело пытаешь али от дела лытаешь?

Витька не стал объясняться с красноречивым водителем, даже не взглянул в его сторону. Переговорил он, да и то вполголоса, с вышедшим на волю капитаном, в чем-то неуловимо напоминающим самого Витьку. Тот слушал, покачивая головой, раз даже неверяще схохотнул, но после они перекурили и за ручку попрощались; машина, развернувшись, лихо укатила в обратном направлении.

Оставшись один, Витька раздумчиво постукал носком ботинка по крепкой земле — напротив, едва не на обочине, вверх тормашками валялся указатель с названием деревни. Витька-офицер, расправив плечи, с удовольствием, до хруста потянулся и, зевая, скорее по привычке, наскоро поставил этот указатель с надписью «ТАЛАНИХА. 0,5 км» — приткнул с краю дороги на прежнее место. Даже для того же порядка обтер еще своей широченной ладошкой от старой ссохшейся грязи и само название — слово, как известно, издревле, всегда означающее счастье, удачу. А ведь год уже как здесь бывает и как будто впервые названье-то услышал, из головы начисто вылетело. Да, честно говоря, когда жилье покупал, мало и интересовало, не спрашивал. Брал по знакомству, со слов: от большой дороги первая деревня — и, как у Христа за пазухой, живи...

А между тем было начало такого в птичьем посвисте утра, когда человеку невольно кажется — кто бы еще это видел, — что именно от этих маленьких деревянных домиков с крохотными баньками в густой зеленой траве да синего озера-блюдечка, овеянных теперь волшебным небесно-золотым светом, и начиналась когда-то сама земная жизнь.

СВОЙ СРОК

...Там на картошке с хлебом
Я вырос такой большой.

Николай Рубцов

Домой мне удалось вырваться как раз к уборке картошки. Вдвоем отцу с матерью было уже тяжеловато пластаться на огороде, а садили они с прежним расчетом, как в лучшие дни, когда за домашним столом вместе со мной хороводились еще двое братьев, Игорь и Николай, двойняшки-«боевики», служившие сейчас срочную на чужой стороне...

Было раннее утро, когда мы, позавтракав, вышли к нашему огороду. Я всю жизнь не перестаю изумляться родительскому истовому трудолюбию! Сразу же возле дома сарайка из добротных, аккуратно подобранных плах, под дрова — их доверху. В летнее и раннеосеннее время отец расшибает обшивку сруба через плаху, чтобы дрова там не застоялись-не залежались, не подгнили, чтобы ветерок оставил в них первозданную свежесть и крепость, тепло.

Слева еще две сарайки: под сено первая, а другая — хлев для коровы Мурашки, нетелки Красавки и пяти ухоженных, точно после химической завивки, овечек.

И все это — сколочено-сделано на славу, надежно и ладно. Ни щелочки лишней, ни гвоздя ненужного. Заглянешь в сенник — дух захватывает, в сено опрокинешься, а вверху, на поперечине, веники, как птицы, висят. Глубже вздохнешь — зубы сведет от запаха лугового, духмяного...

Огурцы уже собраны с парника, и я отыскиваю один, завалявшийся среди блекнувших глянцевитых листьев, и ем, как яблоко. Во рту — свежесть мяты, и поднимается вдруг, невесть отчего, чудесное настроение.

Высокие листья чеснока макушками связаны в шалашики, а горох уже повял окончательно и развешен, как бусы, на ольховые палки.

За картофельными грядками — яма для картошки. На сухом бугре и с крышей, точно у финских построек. Две ступеньки в земле, а перед входом в яму, куда подлезаешь с полным ведром — деревянный настильчик. Внутрь вполз на четвереньках: вкруг такой же деревянный пол, чтоб рас-

сыпать картошечку, провеивать ее, а уж в самой яме — квадрат два на два — три отсека, тем же материалом вымощены: в одном стоять, в другом — на зиму картошка, и в последнем — на семена. Когда урожай убран полностью, в «стоячий» отсек ссыпается та же деловая продукция. А мелкая и с дырками, порченая, собирается в отдельное ведро и относится в хлев, в дворике которого сколочен сусек для скотины. Все рассчитано и продумано с величайшей экономией. Ничего лишнего.

Мы с отцом закуриваем по первой перед трудом праведным, а мать уже начинает, наклоняется над боровком, ей не терпится. Лопата по самый черенок податливо входит в грядку, отваливается куст: тяжело и мягко... Чувствуя неожиданное радостное волнение, я подскакиваю к матери. Хватаю куст и встряхиваю: бело-желтые клубни весело срываются на землю и наперегонки скатываются в боровок.

— Не-ет, ты погляди-ко, — смеется отец и с удовольствием потирает руки. — Чисто поросята!

Он забирает у матери лопату и становится во главе грядки: это его законное место, как за столом — напротив окна; табуретка под столешницу задвинута старая, с щербинами, но отец дорожит ею, перевез еще из старой деревни, Кленова, где прошли его детство и молодые годы.

Так и работаем: отец копает, а мы с матерью отбираем. За огородами — поляна, по которой легко разбежались несколько голенастых рыжих сосен с кучерявыми зелеными верхушками. Над ними красным пятном — солнышко, светит ясно и негрейко. Небо — синь синью, ни облачка легкого. На душе никаких заботушек, голова на редкость светлая...

Время не замечается, а все тело давно налилось крепкой и уверенной силой, дышится полной грудью.

...Отец копает, мы собираем, затем я хватаю полные ведра и разношу их по назначению. Мельком поглядываю по сторонам: мои односельчане тоже не теряют времени даром — то в одном, то в другом огороде копошатся, не разгибаясь, на грядках; кое-где домовито курится дымок...

— Тихая моя родина! Ивы, река, соловьи... — вполголоса шепчу я, торопясь с пустыми ведрами обратно; как же верно сказано: родина лечит! Душу твою, думы твои успокаивает, чтоб потом они, обновленные, стали чище и выше! И так не к месту пришло: не знаю, когда и как уйду из жизни, но что с памятью о родных и родине, — убежден. Но сейчас об этом ни к чему. Всему свой срок.

Отец тем временем распалил костерок, подбросил сушняка, и бесенятами заплясали язычки огня...

Мать, аккуратно расчистив в пожоге место, высыпает груду картошки, накрывает ее ведром, теперь можно не беспокоиться — не подгорит-не сгорит; притихший было огонь вновь облегченно и весело затрещал. А мать раскладывает на разостланной клеенке огурцы, помидоры, грибы, хлеб. Отец соорудил из досок скамейку, и мы садимся обедать.

Картошка горяча и необыкновенно вкусна! Хрустим огурцами, под рукой краснущие помидоры, свежего копчения рыба и соленые грибы в стеклянной литровой банке...

И тут мать как-то непонятно встряхнула головой и резко обернулась: открыв отводок, к нам торопливо шла почтальонша тетя Вера с разбухшей брезентовой сумкой.

— Господи-господи-господи... — заклинанием забормотала мать, возвышаясь над нами. — Уж не с робятами ли чего-о-о-о?..

У отца, снизу уставившегося на лицо ее, немо повело рот. Я молчал.

— Вера-матушка, — протянула руку мать, — чего это? Чего ты идешь-то?..

Тетя Вера остановилась, оглядела нас — и вдруг все поняла, заголосила:

— Да что ты, Ольга, что ты-ы-ы-ы! — замахала руками. — Чего тебе в ум-то взбрело-о-о?.. Да ведь вам письмо от робят-то, письмо-о-о!.. Что ты, что ты! Это я уж по-суседски: дай, думаю, занесу, обрадую! А вы-то, матушки мои, воно что!.. — Тетя Вера нервно достала приготовленный конверт, торопливо протянула... Мать обеими руками сжала письмо в комок и через мгновение, словно очнувшись, бережно расправила. Прочитала — и засмеялась, заплакала:

— Скоро, милые, домой обещаются, ой-ой-ой, да и медалями-то, пишут, обоих-то наградили, слава тебе, Господи-и-и... живы-здоровы!.. — Неловко села на лавку, склонила голову набок, вглядываясь в строки письма. — Гляди чего... Пишут: поди-ко, картошку уже убираете; до чего, мол, мама, картошки-то охота, сил нет, так бы до отвала и наелись... — Мать только теперь посмотрела на нас с отцом, протянула письмо. — Да ты садись, девка, — пригласила тетю Веру. — Заодно и перехватишь с нами, а то все на ногах да на ногах...

— И то верно, — тетя Вера не стала дожидаться дополнительного приглашения и взяла картофелину, перекатывая ее из руки в руку. — Ты погляди-ко: ведь обоих медалями начальство наградило, надо ж такое!.. — подивилась она братьям: — Вот чего наши-то ребята делают!

Мы с отцом молча прочли письмо, затем закурили...

— Ольга, — чуть осевшим голосом окликнул отец. — Помнишь-нет Олешу-то Шольского?

— Но, — не сразу откликнулась мать, подсовывая тете Вере банку с грибами. — А чего?

— А он картошки всю жизнь не едывал, — усмехнулся отец: — «Не еда это, — говорил, — а одно... недоразумение».

— Недоразумение... — сощурилась мать. — Да мы — сколько себя помним — живем на картошке. Стар и млад на ней выросли. Без картошки — стойно без рук: хоть стой, хоть падай. И силушки не прибудет, онемеет. Да тут и говорить-то об этом — только воду в ступе толочь!.. А Олеша-то, грех худым словом покойника вспоминать, сам с гулькин нос и прожил-то. А все отчего — картошки не едал!.. Вот что я скажу.

— Ну, ты уж тут загнула, — с сомнением возразил отец. — У него, сказывают, рак был...

— Рак-то раком, — вспомнив что-то, встрепенулась и тетя Вера, — да только и кот-то у него не чище был: помидоры все у соседей таскал. Надо же такому удуматься: кот — и помидоры ворует! Правда, после хозяина-то тоже куда-то сгинул, как в камский мох провалился: ни слуху, ни духу...

— Ага, ну ладно, — поднялся со скамейки отец, видя, что тетя Вера закончила есть. — Докопаем — да и добро, хоть душа на спокое.

Тетя Вера, поблагодарив, ушла доразнашивать почту, а мы занялись своими делами.

Погода — как капризная женщина: не знаешь, в какую минуту и чего от нее ожидать. Как-то враз потемнело кругом, и подул резкими порывами холодный хлесткий ветер...

— Ой, да и работы-то с боровок осталось, — с сожалением глянув в темнеющее небо, проронила мать и, как заклинание, затараторила, обра-

щаясь к крепнувшему сиверку: — Ви-ихорь, ви-ихорь, жена твоя не онуча: не надо ветру, не надо ветру!..

Но все же где-то на небесах не удержалось и прорвалось, и закрапал, усиливаясь и усиливаясь, дождь. Копать вскоре стало невозможно, но у нас уже все было закончено, успели.

Картошка выкопана. Матери на сегодня осталось еще подоить Мурашку да накормить животину, и сейчас мы с отцом будем носить пойло во двор, а потом всем скопом поставим самовар и обязательно просидим за чаем до полуночи, будем вслух читать и перечитывать письмо от братьев-«боевиков» и еще о многом таком проговорим, чего наболело на сердце... Нам всегда есть о чем поговорить.

Мы подходим к нашему дому и моем сапоги в корыте со светлой дождевой водой. Затем у порога дружно вытираем ноги, и мать, прежде чем войти в дом, поворачивается к нам и, весело тряхнув головой, — куда только и усталость делась! — неожиданно задорно поет:

Эх, картошечка, картошечка,
Какая тебе честь!
Если б не было картошечки,
Чего бы стали есть?

— Молодец, мать, — крутнул головой отец, — тогда пироги станем печь — с начинкой! — И добавил, засмеявшись: — Из картошки!

ОКРУЖНАЯ ДОРОГА

Русанова с женой пригласил приятель в жаркий выходной прокатиться за город. Они переживали в это время не лучшие свои дни, да вдобавок еще были людьми не охочими лишний раз выбираться из дома, но все же согласились. На красном «жигуленке»-колымаге приятель бодро выбрался на окружную дорогу и поддал газу. Машина, лишенная глушителя, грозно заклекотала и помчалась по шоссе. Приоткрыли стекла, и стало легче: ветерок тут же обласкал лица, защекотал в легкой одежде. Через охотку поговорили о том о сем. Приятель был медиком, хорошо понимал состояние друзей, у которых сын давно терял голову от улицы, поэтому осторожно и ненавязчиво отвлекал историями из медицинской жизни. Но иногда и сам подзабывался, начинал всерьез заговаривать об известных сейчас всему свету безобразиях. Прикрыв глаза, Русановы, может, и слушали, но, скорее всего, просто отдыхали, обдуваемые июльским шелковым ветерком. По пути неожиданно завернули в ближайшую от асфальта деревню, где у приятеля оказался домик, куда он наскоро заскочил и разом обернулся с ворохом всякой обутки и одежды. Когда вырулили на проезжую дорогу, узналось, что задумана программа: увлечь Русановых в лес за грибами-ягодами. В этом году погода мало что сама запуталась, заодно ввела в заблуждение и весь белый свет: говорят, грибы никому не давали покоя с самого июня.

У приятеля на какой-то версте было заветное местечко, где он, рассказывал, набирал целые корзинки, — попадались даже грибные короли — белые.

На обочине остановились и переоделись, заодно хорошенько намазавшись средством от известных лесных паразитов: те нынче всерьез ополчились на род человеческий, отправляя в медицинские учреждения целые бригады лесных пилигримов.

Однако в лес все трое забрались с тихой радостью, точно в душу на незримую секунду божественно дохнуло волшебным зноем детства.

Приятель, свободно ориентируясь в любой глухомани, ринулся в чащобу, поднимая треск: кругом зашумело и защелкало, закачались тугие зеленые ветки.

Русановы же решили побродить по окрайкам, свободно и отрешенно переговариваясь и больше помышляя не о грибах, а о своем, наболевшем. Но грибы, серые и красноголовики, были не помехой, то и дело будто понарошку оказываясь под ногами. Побродили сколько-то, и уже, слегка успокоенные, усталые, в оговоренное с приятелем время вернулись с пакетами к машине. Тот уже был на месте, успев перетрясти одежду: довольный, кивал на корзинку, в которой до половины уютно устроилось грибное семейство.

По шоссе беспрестанно проносились машины, иные с завыванием, как самолеты, идущие на взлет. На обратном пути по окружной ехалось веселее: худо-бедно, попришли в себя, а заодно и нужное, о чем забываться не должно, на душе улеглось: слава Богу, жизнь-то продолжается.

Казалось, даже сама машина отдохнула: охотно шуршала по асфальту, хотя ее постоянно обгоняли более нетерпеливые и современные соперницы. Впереди, на обочине, стоял автомобиль иностранного производства, темно-зеленый, красивый, весь какой-то удобно-ладный, недоступный.

— «Фольксваген», — кивнул приятель и споткнулся: все разом обратили внимание на нечто неладное, происходящее с этой машиной. Бросилось в глаза, что на ней, кажется, были сбитые номера, как впридачу дверца открылась, и оттуда двое молодых и вовсе не атлетического сложения парней вытащили волоком третьего, раздетого по пояс, голова его безжизненно свисала. Эту ношу они проворно стащили вниз за обочину, к ближнему кустарнику. И это было все, что успели на ходу заметить в «жигуленке», объезжая на скорости мимо иностранного зеленого чуда.

— Вроде худо дело, — протянул Русанов, вглядываясь через заднее стекло на скоро скрывшуюся за асфальтовым изгибом чужую машину. И они, в молчании пролетев еще какое-то расстояние, без слов развернулись на обратную дорогу. Теперь надо было осторожно и безошибочно определить место, где стояла безномерная иностранка, от которой за эти минуты не осталось и следа. Да и шоссе будто по чьему-то мановению неожиданно оказалось пустым. Сидящим в машине даже стало слегка не по себе, как если бы сама жизнь, странно заглохнув, на мгновение затаилась. Такое замечается перед большой грозой, когда все кругом действительно замирает, становится знобким, тревожным, неясным. Ехалось теперь разведывательно, медленнее, пока вновь не развернулись на окружную дорогу в сторону города. Отчего-то сделалось тоскливее: думалось, что за кустиками, что нескончаемо тянулись вдоль шоссейки, сидели и бдительно следили, чтобы в удобный момент выскочить и сделать свое дело с излишне любопытными свидетелями в еле ползущей красной колымаге. Да и как было не насторожиться: уж больно быстро сдуло в неизвестном направлении иностранное чудо-юдо. Может, и впрямь она затаилась, дожидаясь своего часа? Ведь не могли их не заметить эти неатлетические ребята: не дети же они на самом деле. А могло оказаться и проще, совсем другое: оттащили на пару минут своего не в меру хлебнувшего дружка-приятеля, чтоб полегчало тому на свежем воздухе, а после скоренько и укатили по своим делам. Но ведь голова-то у парня висела как у неживого, да и тащили больно подозрительно, будто избавляясь от ненужного свидетеля.

Между тем хозяин красной машины, на самом деле отличающийся превосходным глазомером, тихонько приткнулся возле обочины и, не открывая дверцы, стал вглядываться в сторону жаркой чащобы. Но против женщин, сила такая, еще никто не устоял; и русановская жена, зайдясь в кашле от неожиданного волнения, быстро заговорила:

— Да вот он, вот он! — И схватилась за щеки, качая головой. — Господи, как страшно. Ведь посреди белого дня.

Русанов последним заметил за обочиной возле кустов лежащего навзничь в осоке человека.

Они с приятелем выбрались наружу и направились к телу. Подозрительным продолжало оставаться то, что шоссейное движение до сих пор было как будто заглохшее. Русанов обернулся к машине: жена через стекло смотрела во все глаза и делала указательным пальцем предупреждающие знаки.

Приятель, немного не доходя до незнакомца, приостановился, профессионально изучая обстановку. В это время лежащий парень чуток очнулся и попытался приподняться: заоткрывал, выпучивая, непослушные глаза.

Было ему уже за двадцать с приличным гаком, черноволос, с короткой стрижкой, на скуластом смуглом лице затаились змеиной ниткой усики, а на крепком загорелом теле какая-то синяя наколка уползала за плечо, имелась такая и на правой руке в виде широкого перстня.

Он так и не смог подняться, повыкатывав наподобие пьяного глаза, затем опять сунулся в осоку, лицом вверх. Приятель было двинулся, но тут жена Русанова, застучав в стекло, так закричала, что пришлось остановиться. Деликатный приятель, помявшись, почему-то шепотом объяснил Русанову:

— Вид не бледный, дышит ровно, это хорошо. С ним все в порядке. — Но он привык убеждаться в диагнозе собственноручно, поэтому в голосе все же была неуверенность. И хотел еще раз двинуться к осоке, но русановская жена опять тревожно отстучала в стекло. Мужикам и пришлось с этим вернуться восвояси.

А шоссейное движение уже по-прежнему шумело своей обычной жизнью, которая, быть может, вовсе и не прекращалась: мало ли что померещится на таком солнцепеке; с небесной верхотуры на этот полуденный, еле не дымящийся асфальт окружной дороги беспрестанно заливало жаром все окрест видимое и невидимое.

Хотя ехавшим домой было не до лишних рассуждений: все трое, испытывая неловкость, просто молчали. Хватило было ума забрать парня с собой, неизвестно, чем бы закончилась эта затея. Скажем, попадись в хозяйские руки блюстителей порядка, что бровью не ведут сейчас на трассе возле железной милицейской будки, потом точно до потери пульса затаскают по допросам да судам, а если, не приведи Господи, с парнем окажется и вовсе худо, спасу вообще не оберешься. Как тут ни крути, а другого выхода не было. По правде говоря, другие в такие ловушки и не суются, если духа не хватает. Вот и оставалось, пока добирались до города, говорить обо всем понемногу. Но все равно любой разговор волей-неволей сводился к обсуждению оставленного в осоке парня.

— Как страшно, — твердила русановская жена: кажется, она всю дорогу не отнимала рук от своих разгоряченных щек. — Ведь среди белого дня.

Русанов хорошо понимал ее состояние: она, верно, наяву представляла на месте этого парня своего сына. Тот уже давно любил улицу как род-

ную мать в детстве, болтался сутками напролет неизвестно с кем и где, с родителями был не по возрасту языкаст и задирист. А зачастую, пугая и без того скукожившиеся родственные души, становился и вовсе нелюдимым, мрачным. Это вместо того доброго весельчака и хохотуна, каким его привыкли знать. Глаза бы этого не видели и уши бы такого не слышали, разве не правда?

А что касается татуированного молодца за обочиной дороги, Русанов для себя окончательно уяснил: с такими ничего не случится, — видно, даже своим хуже горькой редьки надоел, для отсыпа и выгрузили, после на попутках как огурчик свеженький вернется. В молодые армейские годы Русанов всю службу охранял таких вот добрых молодцев с большой дороги и привык их распознавать сразу: по мгновенно скатывающейся внутрь живота жгучей до изморози струйке холода. Он еще тогда, как спустились с обочины к леску — разом понял: этот из тех, с которым на короткой ноге лучше не знаться.

Приятель подвез прямо к подъезду дома, из-за которого выглядывала, не таясь, величавая роща: дом расположился на окраине города, в радующем глаз месте, украшением которого и являлась бывшая усадьба последнего губернатора этого старинного города. Попрощались, поглядывая на проходящих из рощи беззаботных людей, и, как это бывает лишь у нас, не сговариваясь, точно приговоренные, опять вразнобой заталдычили о парне.

Ни к селу ни к городу, внезапно сошлись во мнении, что не мешало бы все же позвонить в милицию. И все рассказать, чтоб на душе не скребли кошки. Кому звонить, вопрос не возникал: приятель был бестелефонный, а у Русановых связь с внешним миром прочно удерживалась уже несколько лет. Но хозяйка и слушать не хотела о звонке из собственной квартиры, да еще как на грех приятель случайно подлил масла в огонь, доверительно поведав, что одна знакомая почтальонка недавно выступала свидетелем по какому-то делу, а после суда вдруг исчезла, и теперь о ней не было ни слуху, ни духу.

Мимо говоривших уверенно протопала компания из нескольких великовозрастных представителей сегодняшнего поколения «как бы» и наладилась прорваться в их подъезд, но ничего не получилось: подъезд, благодаря стараниям того же Русанова и его соседа по площадке, был одомофоненный. Русанов, обычно вспыхивающий спичкой, хотел уже вмешаться не в свое дело, но получил от хозяйки своевременный тычок в спину, да и сами парни, покачиваясь, передумали и, едва не задев стоящих возле красной машины, направились с батареей пива в другое место. А один еще, захохотав: «Да я таких — как два пальца об асфальт», — и смерил их с ног до головы с лениво-сытым вызовом.

— Слава Богу, — перекрестилась жена Русанова, когда за ней с мужем с оглушительным грохотом захлопнулась тяжелая железная дверь их подъездного убежища: она всегда так говорила, чувствуя здесь полную безопасность. На лифте мирно поднялись к себе, и лишь открыли квартиру, хозяйка вместе с пакетом и опустилась в прихожей на стул, покрытый домотканым ковриком. В комнате на диване, в наушниках, перевитых проводами, сидел с закрытыми глазами их семнадцатилетний родной дитятя и, казалось, не дышал. На щеке его кровянилась свежая яркая царапина, даже край нижней губы, слегка вздутый, был в крови.

Конечно, теперь в голову Русанова не пришло бы и мысли помечтать о любимом занятии — посидеть в одиночестве на балконе и со спокойной

душой поглазеть на диковинную рощу. Он поначалу даже не сразу сообразил, что делать: повыскакивав возле замеревшей жены, подлетел к сыну и разглядел, что тот всего лишь заснул, слушая музыку. Тогда Русанов скоренько набрал в стакан воды и без лишних раздумий плеснул на жену. И, как оказалось, помогло: та вмиг подскочила, придя в себя, и, забыв для порядка ругнуть мужа, бросилась к сыну:

— Ой, ты, Господи, да что это такое, что же такое!

Дитятя, родное сердце, разомкнул сонные вежды и, разглядев родителей, сморщился:

— Ну, люди на блюде. Не дали человеку отдохнуть.

А люди-человеки, схожие друг с другом во веки веков заботой о детях, едва не вперебой запричитали:

— Подрался с кем? Что случилось-то?

Сын проснулся окончательно и, догадавшись наконец о причине родительской заморочки, еще подскривился, стаскивая наушники, сказал басом:

— Да ну вас, мама, что за фишка. Хотя бы порадовались: человек первый раз как бы побрился. Такое не грех и отметить, короче.

Все в однокомнатной уютной квартирке Русановых от радости смешалось в мгновение ока, когда сын уже вполне по-человечески, мирно добавил:

— Правда, есть чего-то хочется. Мам, покорми, ладно?

И Русанов, как говорится, не отходя от кассы, тут же был откомандирован на местный рынок за свежими овощами и фруктами, молоком и хлебом.

На чахлом кривом деревце у одного из подъездов дома сидела, растопырив крылья и раскрыв клюв, олопелая от зноя ворона, видимо, не в силах не то что взлететь, но даже шевельнуться. Похоже, мир для нее, основательно замерев, утратил всякий познавательский интерес.

Единственным спасением от массового жаропомешательства в этом краю оставалась трансформаторная будка, расположенная напротив их подъезда и закрываемая соседней крупнопанельной высоткой. В тенечке ее на размелованных бледных квадратиках асфальта прыгали, будто заведенные, две безрадостные девчушки, да от нечего делать торчал, покуривая, Витька-офицер, в свое время уже отслуживший где надо. Он, как и всегда, чему-то опять тихо улыбался, словно бережно вслушивался в непонятные изменения, происходящие внутри его самого.

Увидев Русанова, щурящегося во дворе на желтое неподвижное марево, худой светловолосый Витька приподнял голову и приветливо закивал, улыбаясь. Только теперь Русанов и понял по-настоящему, как он за этот денек поизмотался. И предложил Витьке-офицеру его поддержать, для пущей убедительности пощелкав себя по горлу. Витька поискал задумчивым взглядом что-то перед собой, следом чуток пожал плечами. И они, не спеша, лениво побрели в сторону микрорайоновского рынка.

Солнце опять встретило их на просторе во всеоружии: оно обливало знойным жирным варевом холодно-синеватые многоэтажки и, стекая светоносным потоком с высоты ненадежных панелек, плавило сухую, морщинисто растрескавшуюся землю. Да вдобавок из многих распахнутых окон, ровно из преисподней, доносился непрерывный магнитофонный грохот и завывание, явно направленные на стимулирование всеобщего настроения.

Русанов запоздало удивился, что он, того не замечая, наладился сам с собою вслух разговаривать. Но сразу справедливо и успокоился тем, что

повествование о брошенном ими парне предназначалось для Витьки-офицера, известного после службы туговатостью на ухо. Вот и приходилось говорить громче обычного, а это, верно, незаметно и перетекло в невольную беседу с самим собой, все еще подрастроенным. Но удивительней всего оказалось, что Витька довольно внимательно слушал собеседника. И помимо воли мелькнуло, что офицер этот, как бы выразиться поаккуратнее, — не так уж и глух, как твердили доброхоты.

— Так и не позвонили? — спокойно уточнил он, вытирая широкой ладошкой пот с высокого загорелого лба и растирая шею под воротом белой рубашки. — Извини, друг, любое дело надо доводить до конца. Чего уж там. — И не столько слова, сколько взгляд запомнился, хотя и говорил он, глядя в сторону.

Они были уже на лысой сухой горушке перед цветной панорамой микрорайоновского рынка — наискосок через дорогу: тентово-многоголосого, затопленного расплывшимся, как парное молоко, солнцем. Русанов уже наметил и торчащий поверх рынка желтый козырек пивного павильона, как взгляд его задержался на стояке уличного телефона.

Не поворачивая головы — спиной он, что ли, видел, — Витька-офицер негромко, буднично предупредил:

— Любой номер телефона высвечивается, и разговор идет на запись. А если базар о мокрухе — наши в два счета прилетят. Без свидетелей никуда. Значит, сказать надо только о главном.

Получалось, что дело и взаправду грозило быть серьезным. Но Русанов уже сжал зубы: почудилось человеку, что его за рукав еле заметно потянули. Так в детстве сын всегда делал, когда хотел о чем-то своем, важном сказать. Он набрал нужный номер и решительно, толково, как ему думалось, объяснил слушавшему на другом конце провода должностному лицу все про случившееся на окружной дороге. Телефонный собеседник, однако, не выказал ожидаемой заинтересованности. А в свою очередь доверительно, даже задушевно стал едва ли не по деталям уточнять все, что для него было непонятным. Русанова это даже за живое задело: трудно было бы не удивиться такой несообразительности взрослого человека. И, подзабывшись, он уже настроился на более толковое объяснение, как взгляд его встретился с немигающими глазами Витьки-офицера. «Дальше сами», — вздрогнув, сбился он и быстро вернул трубку на законное место. А Витька следом так же деловито протер ее листом придорожного лопуха, оставшиеся ошметья воспитанно выбросил в мусорку.

Затем они не сговариваясь, но согласованно покинули опасное место и оказались на рынке. Покупки, дело нехитрое, были сделаны точно по списку, и через некоторое время приятели расположились под желтым тентом, потягивая холодное «Янтарное»: мимо — рукой подать — пролегала дорога, каменисто-пыльная, с засохшей серой грязью, на обочине которой бельмом на глазу и торчал тот самый пресловутый телефон-автомат, — прямо не место для отдыха, а невольный наблюдательный пункт.

Но Русанову уже верилось, что наконец-то тяжесть с души спала, и было как никогда легко и беззаботно потягивать из высоких хлипких стаканов, не обращая внимания на привычный окружающий бедлам, которому, кажется, не предвиделось ни конца, ни начала.

— Тогда зачем я поймал белку? — неожиданно возьми и пристукни Витька-офицер по пластмассовой и без того качкой столешнице. И его глаза становились темнее и темнее, блуждая поверх затопляемого светом, копошащегося с муравьиным упорством людского рынка.

— Какую белку? — откинувшись на стуле, спохватился Русанов: он испугался, что Витька мало-помалу стал заговариваться; тем более, такое за ним, сказывали глазастые, с некоторых пор замечалось.

— Белую горячку, — так же быстро взяв себя в руки, неохотно пояснил Витька. — Самую обыкновенную белую горячку, земеля. — Он махом допил свое «Янтарное», склонил голову набок, понимающе усмехнулся. — Не боись, не от этого наши домики покосились. У меня со здоровьем полный ажур. Просто так теперь спокойнее: сам по себе человек кукует. Его не трогают, и он никому не мешает. Не жизнь, а лафа.

И в подтверждение сказанного, Витька-офицер, повыстукивав пальцами по столику, откашлялся и с приятной хрипотцой для разгона вывел скороговоркой:

— Снова замерло все до рассвета...

Но на этом его разгон и прервался: Русанов, лицо которого вытянулось в неподдельной тревоге, увидел, как в горку мимо их тента прямехонько к телефону-автомату подлетели две милицейские машины с фиолетовыми мигалками на кабинах. Из них дружно высыпалась группа быстрых, крепких парней, одетых в черную форму, и стала растекаться по гудящему рынку — налаженно и стремительно.

— А это уже серьезно, — легко оказался на своих двоих Витька-офицер. — То ли, братан, там без мокрухи не обошлось, а может, и просто плановый шмон. Но сейчас верняком не только рынок, а все кругом в два счета зачистят. Ребятки эти из «Барса», — повел он указательным пальцем. — Если понадобится — они и черепаху раком поставят. Поэтому давай-ка и мы в темпе по домам на всякий пожарный. — Витька указал в сторону микрорайона. — И лучше поодиночке — вернее будет. — И он, ободряюще кивнув головой, как-то несуетливо, но в то же время незаметно смешался с толпой, стремящейся по направлению к автобусно-троллейбусной остановке.

Оставшись в одиночестве, Русанов ошеломленно посидел с открытым ртом, пытаясь прийти в себя и совершенно не вслушиваясь в поднявшийся гвалт со стороны рынка. Так и надо, правильно: кто надоумил лезть не в свое дело — бестолку все это затевалось! В груди давило, было тесно, противно и страшно: казалось, что сейчас эти люди в черном обязательно схватят — и все, на этом его жизнь и закончилась. В голове появилось нехорошее, какое раньше не знавалось, кружение и пугающая слабость, а в глазах вдруг стало меркнуть. И, похоже, как с большинством нынче из нас, с ним тоже случился мимолетный провал в памяти, потому что в следующий миг он очнулся уже дробно бегущим с пакетом под мышкой в районе своих домов. Добивало еще будто в насмешку талдычащее прямо в темечко: «Ничего не вижу, ничего не слышу, ничего никому не скажу...» Бывшее словами некогда известной песенки, это теперь безнаказанно забралось в распухшую голову и упрямо не желало покидать облюбованное место своего временного пребывания.

Но Русанов, вконец измученный едким и злым, скользким потом, — больше ему уже ничего не желалось, — быстрее и быстрее перебирал ногами, изо всех сил стремясь к спасительному дому возле старинной рощи, где весной не дают по ночам спать соловьи, а после дождя бывает сразу по две радуги, где до поздней осени под окнами неутомимо стрекочут зеленые кузнечики и где его давным-давно заждались, — к своим, к своим...

Хоть там сегодня все было слава Богу.